НЕСКОЛЬКО ОТРЫВОЧНЫХ МЫСЛЕЙ

Вместо предисловия

Обычно писатель знает себя лучше, чем критики и литературоведы. Вот почему я согласился на предложение издательства написать краткое предисловие к своему Собранию сочинений[Ш].

Но, с другой стороны, возможность говорить о себе у писателя ограниченна. Он связан многими трудностями, в первую очередь — неловкость давать оценку собственным книгам.

Кроме того, ждать от автора объяснения собственных вещей — дело бесполезное. Чехов в таких случаях говорил: «Читайте мои книги, у меня же там все написано». Я с охотой могу повторить эти чеховские слова.

Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию. Подробно рассказывать ее нет смысла. Вся моя жизнь с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести книгах автобиографической «Повести о жизни», которая включена в это собрание. Работу над «Повестью о жизни» я продолжаю и сейчас.

Родился я в Москве 31 мая 1892 года в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.

Отец мой происходит из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось, около Белой Церкви. Там жили мой дед — бывший николаевский солдат — и бабка-турчанка.

Несмотря на профессию статистика, требующую трезвого взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиживался подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, Пскове и, наконец, осел, более или менее прочно, в Киеве.

Моя мать — дочь служащего на сахарном заводе — была женщиной властной и суровой.

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, спорили, благоговейно любили театр.

Учился я в 1-й киевской классической гимназии.

Когда я был в шестом классе, семья наша распалась. С тех пор я сам должен был зарабатывать себе на жизнь и учение. Перебивался я довольно тяжелым трудом — так называемым репетиторством.

В последнем классе гимназии я написал первый рассказ и напечатал его в киевском литературном журнале «Огни». Это было, насколько я помню, в 1911 году.

После окончания гимназии я два года пробыл в Киевском университете, а затем перевелся в Московский университет и переехал в Москву.

В начале мировой войны я работал вожатым и кондуктором на московском трамвае, потом — санитаром на тыловом и полевом санитарных поездах.

Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвижа в Белоруссии.

В отряде из попавшегося мне обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день убиты на разных фронтах оба мои брата. Я вернулся к матери — она в то время жила в Москве, но долго высидеть на месте не смог и снова начал свою скитальческую жизнь: уехал в Екатеринослав и работал там на металлургическом заводе Брянского общества, потом переехал в Юзовку на Новороссийский завод, а оттуда в Таганрог на котельный завод Нев-Вильдэ. Осенью 1916 года ушел с котельного завода в рыбачью артель на Азовском море.

В свободное время я начал писать в Таганроге свой первый роман — «Романтики».

Потом переехал в Москву, где меня застала Февральская революция, и начал работать журналистом.

Мое становление человека и писателя происходило при Советской власти и определило весь мой дальнейший жизненный путь.

В Москве я пережил Октябрьскую революцию, стал свидетелем многих событий 1917–1919 годов, несколько раз слышал Ленина и жил напряженной жизнью газетных редакций.

Но вскоре меня «завертело». Я уехал к матери (она снова перебралась на Украину), пережил в Киеве несколько переворотов, из Киева уехал в Одессу. Там я впервые попал в среду молодых писателей — Ильфа, Бабеля, Багрицкого, Шенгели, Льва Славина.

Но мне не давала покоя «муза дальних странствий», и я, пробыв два года в Одессе, переехал в Сухум, потом — в Батум и Тифлис. Из Тифлиса я ездил в Армению и даже попал в Северную Персию.

В 1923 году вернулся в Москву, где несколько лет проработал редактором РОСТА. В то время я уже начал печататься.

Первой моей «настоящей» книгой был сборник рассказов «Встречные корабли» (1928).

Летом 1932 года я начал работать над книгой «Кара-Бугаз». История написания «Кара-Бугаза» и некоторых других книг изложена довольно подробно в повести «Золотая роза». Поэтому здесь я на этом останавливаться не буду.

После выхода в свет «Кара-Бугаза» я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной, всепоглощающей, порой мучительной, но всегда любимой работой.

Ездил я по-прежнему много, даже больше, чем раньше. За годы своей писательской жизни я был на Кольском полуострове, жил в Мещёре, изъездил Кавказ и Украину, Волгу, Каму, Дон, Днепр, Оку и Десну, Ладожское и Онежское озера, был в Средней Азии, в Крыму, на Алтае, в Сибири, на чудесном нашем северо-западе — в Пскове, Новгороде, Витебске, в пушкинском Михайловском.

Во время Великой Отечественной войны я работал военным корреспондентом на Южном фронте и тоже изъездил множество мест. После окончания войны я опять много путешествовал. В течение 50-х и в начале 60-х годов я посетил Чехословакию, жил в Болгарии в совершенно сказочных рыбачьих городках Несебре (Мессемерия) и Созополе, объехал Польшу от Кракова до Гданьска, плавал вокруг Европы, побывал в Стамбуле, Афинах, Роттердаме, Стокгольме, в Италии (Рим, Турин, Милан, Неаполь, Итальянские Альпы), повидал Францию, в частности Прованс, Англию, где был в Оксфорде и шекспировском Стрэдфорде. В 1965 году из-за своей упорной астмы я довольно долго прожил на острове Капри — огромной скале, сплошь заросшей душистыми травами, смолистой средиземноморской сосной — пинией и водопадами (вернее, цветопадами) алой тропической бугенвилии, — на Капри, погруженном в теплую и прозрачную воду Средиземного моря.

Впечатления от этих многочисленных поездок, от встреч с самыми разными и — в каждом отдельном случае — по-своему интересными людьми легли в основу многих моих рассказов и путевых очерков («Живописная Болгария», «Амфора», «Третья встреча», «Толпа на набережной», «Итальянские встречи», «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша» и др.), которые читатель тоже найдет в этом Собрании сочинений.

Написал я за свою жизнь немало, но меня не покидает ощущение, что мне нужно сделать еще очень много и что глубоко постигать некоторые стороны и явления жизни и говорить о них писатель научается только в зрелом возрасте.

В юности я пережил увлечение экзотикой.

Желание необыкновенного преследовало меня с детства.

В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения.

Ветер этот приносил запах тисовых лесов, пену атлантического прибоя, раскаты тропической грозы, звон эоловой арфы.

Но пестрый мир экзотики существовал только в моей фантазии. Я никогда не видел ни темных тисовых лесов (за исключением нескольких тисовых деревьев в Никитском ботаническом саду), ни Атлантического океана, ни тропиков и ни разу не слышал эоловой арфы. Я даже не знал, как она выглядит. Гораздо позже из записок путешественника Миклухо-Маклая[2] я узнал об этом. Маклай построил из бамбуковых стволов эолову арфу около своей хижины на Новой Гвинее. Ветер свирепо завывал в полых стволах бамбука, отпугивал суеверных туземцев, и они не мешали Маклаю работать.

Моей любимой наукой в гимназии была география. Она бесстрастно подтверждала, что на земле есть необыкновенные страны. Я знал, что тогдашняя наша скудная и неустроенная жизнь не даст мне возможности увидеть их. Моя мечта была явно несбыточна. Но от этого она не умирала.

Мое состояние можно было определить двумя словами: восхищение перед воображаемым миром и — тоска из-за невозможности увидеть его. Эти два чувства преобладали в моих юношеских стихах и первой незрелой прозе.

С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Но еще долго в моих повестях и рассказах попадались ее застрявшие невзначай золоченые нити.

Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия — то, что мы называем экзотикой, и то, что называем романтикой. Мы подменяем романтику чистой экзотикой, забывая о том, что эта последняя является лишь одной из внешних оболочек романтики и лишена самостоятельного содержания.

Сама по себе экзотика оторвана от жизни, тогда как романтика уходит в нее всеми корнями и питается всеми ее драгоценными соками. Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики и никогда от нее не уйду — от очистительного ее огня, порыва к человечности и душевной щедрости, от постоянного ее непокоя.

Романтическая настроенность не позволяет человеку быть живым, невежественным, трусливым и жестоким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет никаких разумных оснований отказываться от нее в нашей борьбе за будущее и даже в нашей обыденной трудовой жизни.

Разумеется, экзотику можно найти в «Романтиках», «Блистающих облаках» и во многих моих ранних романтических рассказах. Мне не казалось нужным переделывать эти вещи позднее. На них лежит печать своего времени, моего тогдашнего мироощущения. Поэтому они публикуются здесь в том виде, в каком появились на свет. Лишь кое-где пришлось исправить явные ошибки и стилистические погрешности.

Не без внутреннего сопротивления я порвал с чистой экзотикой и написал об этом рассказ под названием «Морская прививка».

В этом разрыве последним толчком было посещение Московского планетария. Его только что открыли. Строитель планетария архитектор Синявский повел меня на первый показ искусственного звездного неба. Я был, как и все, захвачен этим зрелищем.

Мы вышли из планетария поздним вечером. Стоял сухой октябрь. На улицах пахло палым листом. И вдруг как бы впервые я увидел у себя над головой огромное, живое, кипящее звездами небо. Дым легких облаков пролетал в вышине, но не застилал звезд. Казалось, черный воздух осени усиливал пылание небесного свода.

И вот — почти все написанное мною до этого вечера представилось мне таким же искусственным, как небо планетария, — бетонный купол с фальшивыми созвездиями. Вначале оно поражало, но в нем не было глубины, воздуха, объема, слияния с мировым пространством.

После того вечера я уничтожил некоторые наиболее нарядные и искусственные свои рассказы.

Однако потом на протяжении своей дальнейшей жизни я убедился в банальной истине, что ничто — даже самая малость — не проходит для нас даром. Юношеская

приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем.

С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.

Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над «Кара-Бугазом», «Колхидой», «Черным морем» и другими повестями и рассказами.

С экзотикой было покончено. Ее сменило стремление к правде и простоте.

Но сравнительно недавно экзотика заставила меня еще раз задуматься над ее сущностью. Случилось это во время плавания вокруг Европы.

Наш теплоход отошел из Одессы и двое суток пересекал пасмурную от облачного неба синеватую пустыню Черного моря. Пенистый след ложился за кормой и как бы тянул на буксире стаю чаек с поджатыми красными лапами.

Мгла лежала на горизонте. Только на подходе к Босфору она просветлела, и за ней проступили дикие, покрытые черными лесами Анатолийские горы.

Теплоход, круто разворачиваясь, вошел в Босфор.

Перед нами открылась картина, похожая на старинную пышную декорацию приморской страны. Кое-где на этой декорации облетела позолота, кое-где ее подправили свежими красками. Вся эта путаница гор, древних башен, минаретов, скал, аркад, замков, маяков, оливковых рощ, парусов, диких роз, вековых кипарисов, мачт и рей показалась мне в огне заката нарочитым и подчеркнуто праздничным зрелищем, придуманным неутомимым и веселым художником.

Десятки пестрых, как попугаи, фелюг — карминных, желтых, зеленых, белых, синих и черных с золотыми обводами по бортам — шли, пеня воду, навстречу нашему теплоходу.

Мы стали на якорь против игрушечного городка. Вечером в домах загорелись огни. Они светили неярко, пробиваясь сквозь зелень.

Я увидел с палубы узкую улицу, уходящую в горы. Ее во всю длину перекрывал глухой, почти черный навес из виноградных лоз, растянутых на жердях. Большие зрелые кисти винограда висели низко над улицей. Под ними шел ослик с фонариком на шее. Фонарик был электрический и светил очень сильно.

Этот городок был преддверием Стамбула. С террасы маленькой кофейни, висевшей над водой, доносилась тягучая музыка. Девушки-турчанки в светлых платьях, облокотившись о перила, смотрели на пролив. Их лица, различимые в бинокль, казались очень бледными. С берега пахло олеандрами. В меркнущем небе слабо сиял полумесяц — такой же, как на куполах бесчисленных маленьких мечетей.

Мне все это казалось каким-то нереальным и напомнило вымыслы юности. Но вместе с тем это была действительность.

Я наконец поверил, что передо мной легендарный Босфор, что это именно я стою на палубе и что рядом в сумраке тонут древнейшие области земли — Малая Азия, мифическая Троя, Геллеспонт.

Чем больше я воочию знакомился с тем, что недавно еще существовало только в моем воображении в виде экзотических картин, тем яснее становилось, что этот мир, перенесенный из области фантазии в область познания, гораздо интереснее, значительнее и, я бы сказал, сказочнее, чем были мои выдумки о нем.

С тех пор сознание этой реальности не покидало меня на всем пути — в лиловом Эгейском море, где тянулось по горизонту торжественное шествие розовых островов, в Акрополе, как бы построенном из старого воска, изъеденного пчелами, в Мессинском проливе с его ослепляющей голубизной воздуха, в Риме, где на простой и суровой гробнице Рафаэля в Пантеоне лежала высохшая гвоздика, в Атлантике, в кипучем Париже и в Ла-Манше, когда сквозь туман звонили навстречу кораблю старинные колокола на плавучих бакенах, — всюду и везде…

Мне кажется, что одной из характерных черт моей прозы является ее романтическая настроенность.

Это, конечно, свойство характера. Требовать от любого человека, в частности от писателя, чтобы он отказался от этой настроенности, — нелепо. Такое требование можно объяснить только невежеством.

Романтическая настроенность не противоречит острому интересу к «грубой» жизни и любви к ней. Во всех областях действительности и человеческой деятельности, за редкими исключениями, заложены зерна романтики.

Их можно не заметить и растоптать или, наоборот, дать им возможность разрастись, украсить и облагородить своим цветением внутренний мир человека.

Романтичность свойственна всему, в частности науке и познанию. Чем больше знает человек, тем полнее он воспринимает действительность, тем теснее его окружает поэзия и тем он счастливее.

Наоборот, невежество делает человека равнодушным к миру, а равнодушие растет медленно, но необратимо, как раковая опухоль. Жизнь в сознании равнодушного быстро вянет, сереет, огромные пласты ее отмирают, и в конце концов равнодушный человек остается наедине со своим невежеством и своим жалким благополучием.

Истинное счастье — это прежде всего удел знающих, удел ищущих и мечтателей. И меня очень радует то обстоятельство, что после некоторых споров, бурно протекавших в критике еще совсем недавно, романтика опять заняла свое законное место в жизни нашей литературы.

В этом введении к своим книгам я пытаюсь проследить свой собственный путь, сделать его более ясным (в частности, и для себя), определить те явления, какие привели к рождению той или иной моей книги.

Необходимо знать, какие побуждения руководят писателем в его работе. Сила и чистота этих побуждений находятся в прямом отношении или к признанию писателя со стороны народа, или к безразличию и даже прямому отрицанию всего им сделанного.

Желание все знать, видеть, путешествовать, быть участником разнообразных событий и столкновений человеческих страстей вылилось у меня в мечту о некой необыкновенной профессии. Она обязательно должна была быть связана с этой кипучей жизнью.

Но есть ли на свете такая профессия? Чем больше я думал об этом, тем быстрее одна профессия отпадала вслед за другой. В них не было полной свободы. Они не охватывали жизнь целиком в ее стремительном развитии и разнообразии.

Одно время я всерьез думал стать моряком. Но вскоре мечта о писательстве вытеснила все остальные.

Писательство соединяло в себе все привлекательные профессии мира. Оно было независимым, мужественным и благородным делом.

Однако тогда я еще не знал, что писательство — это и труд, тяжкий и расточительный, что даже одна-единственная крупица правды, утаенная писателем от людей, — преступление перед собственной совестью, за которое он неизбежно ответит.

Страдания и радости всех людей становятся уделом писателя. Он должен обладать талантом собственного видения мира, непреклонностью в борьбе, лирической силой и общностью жизни с природой, не говоря уже о многих других качествах, хотя бы о простой психологической выносливости.

Решение пришло. Будущее стало ясным. Избранный путь оказался прекрасен, хотя и очень труден. И ни разу за долгие годы у меня не возникло искушение изменить ему.

Моя писательская жизнь, как я уже говорил, началась с желания все знать и все видеть. И, очевидно, на этом она и окончится.

Поэзия странствий, слившись с неприкрашенной реальностью, образовала наилучший сплав для создания книг. Почти в каждой повести и каждом моем рассказе видны следы

скитаний. Сначала был юг. С ним связаны «Романтики», «Блистающие облака», «Кара-Бугаз», «Колхида», «Черное море» и ряд рассказов, в том числе «Этикетки для колониальных товаров», «Потерянный день», «Парусный мастер», «Синева» и некоторые другие.

Первая моя поездка на север — в Ленинград, Карелию и на Кольский полуостров — просто ошеломила меня.

Я узнал пленительную власть севера. Первая же белая ночь над Невой дала мне больше для познания русской поэзии, чем десятки книг и многие часы размышлений над ними. Оказалось, что понятие «север» означает не только тихую прелесть природы, но почему-то еще и стихи «Подруга дней моих суровых…», написанные Пушкиным в глуши псковских лесов, грозные соборы Новгорода и Пскова, величавый и стройный Ленинград, Неву за окнами Эрмитажа, песни сказителей, спокойные глаза северянок, черную хвою, слюдяной блеск озер, белую пену черемухи, запах коры, звон пил лесорубов, шелест страниц, перечитываемых ночью, когда заря уже проступает над Финским заливом и в памяти поют слова Блока:

…Руку
Одна заря закинула к другой.
И, сестры двух небес, прядут они —
То розовый, то голубой туман,
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни.

Можно исписать много страниц этими неясными приметами, создающими явственный облик севера. Я был захвачен севером сильнее, чем югом.

Пожалуй, ни одному из художников не удалось передать таинственное безмолвие северной сыроватой ночи, когда каждая капля росы и отражение костра в луговом озерке вызывают такую внезапную, сокровенную, такую застенчивую и глубокую любовь к России, что от нее глухо колотится сердце. И хочется жить сотни лет, чтобы смотреть на эту бледную, как полевая ромашка, северную красоту.

Север вызвал к жизни такие книги, как «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт», «Северная повесть», и такие рассказы, как «Колотый сахар» и «Беглые встречи».

Но самым плодотворным и счастливым для меня оказалось знакомство со средней полосой России. Произошло оно довольно поздно, когда мне было уже под тридцать лет. Конечно, и до этого я бывал в Средней России, но всегда мимоходом и наспех.

Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь полевую дорогу или деревушку на косогоре — и вдруг вспомнишь, что уже видел ее когда-то очень давно, может быть, даже во сне, но полюбил всем сердцем.

Так же случилось у меня и со Средней Россией. Она завладела мной сразу и навсегда. Я ощутил ее как свою настоящую давнюю родину и почувствовал себя русским до последней прожилки.

С тех пор я не знаю ничего более близкого мне, чем наши простые русские люди, и ничего более прекрасного, чем наша земля.

Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. Сейчас я со снисходительной улыбкой вспоминаю юношеские мечты о тисовых лесах и тропических грозах. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу.

С этим кустом и с пасмурным небом, помаргивающим дождями, с дымком деревень и сырым луговым ветром отныне накрепко связана моя жизнь.

Я снова здесь в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный…

Самое большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещёрском краю. Счастье близости к своей земле, сосредоточенности и внутренней свободы, любимых дум и напряженного труда.

Средней России — и только ей — я обязан большинством написанных мною вещей. Перечисление их займет много места. Я упомяну только главные: «Мещёрская сторона», «Исаак Левитан», «Повесть о лесах», цикл рассказов «Летние дни», «Старый челн», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Дождливый рассвет», «Кордон 273», «Во глубине России», «Наедине с осенью», «Ильинский омут».

В Мещёрском краю я прикоснулся к чистейшим истокам народного русского языка. Не буду здесь говорить об этом, чтобы не повторяться. Свое отношение к русскому языку и мысли о нем я высказал в книге «Золотая роза» (в главе «Алмазный язык»).

Возможно, читателям этой статьи покажется странным то обстоятельство, что автор останавливается главным образом на внешней среде, в которой происходит действие его произведений, но почти ничего не говорит о своих героях.

Я не могу дать своим героям беспристрастной оценки. Поэтому говорить мне о них трудно. Пусть оценку даст им читатель.

Я могу лишь сказать, что всегда жил со своими героями одной жизнью, всегда стремился открыть в них добрые черты, их сущность, их незаметное порой своеобразие. Не мне судить, удалось ли мне это.

Я всегда был с любимыми своими героями во всех обстоятельствах их жизни — в горе и счастье, в борьбе и тревогах, победах и неудачах. И с той же силой, с какой любил все подлинно человеческое в самом незаметном и незавидном герое, ненавидел людскую накипь, тупость и невежество.

Каждая моя книга — это собрание многих людей разных возрастов, национальностей, занятий, характеров и поступков. Поэтому меня несколько удивляет упрек некоторых критиков, что я бегло и неохотно пишу о людях. Очевидно, за беглость принимают сжатые характеристики людей.

Ну что ж, все это легко проверить. Для этого можно взять любую книгу и посмотреть, кого мы встретим на ее страницах.

Меня всегда интересовала жизнь замечательных людей. Я пытался найти общие черты их характеров — те черты, что выдвинули их в ряды лучших представителей человечества.

Кроме отдельных книг о Левитане, Кипренском, Тарасе Шевченко, у меня есть главы романов и повестей, рассказы и очерки, посвященные Ленину, Горькому, Чайковскому, Чехову, лейтенанту Шмидту, Виктору Гюго, Блоку, Пушкину, Христиану Андерсену, Мопассану, Пришвину, Григу, Гайдару, Шарлю де Костеру, Флоберу, Багрицкому, Мультатули, Лермонтову, Моцарту, Гоголю, Эдгару По[3], Врубелю[4], Диккенсу, Грину и Малышкину.

Но все же чаще и охотнее всего я пишу о людях простых и безвестных — о ремесленниках, пастухах, паромщиках, лесных объездчиках, бакенщиках, сторожах и деревенских детях — своих закадычных друзьях.

В своей работе я многим обязан поэтам, писателям, художникам и ученым разных времен и народов. Я не буду перечислять здесь их имена, от безвестного автора «Слова о полку Игореве» и Микеланджело до Стендаля и Чехова. Имен этих очень много.

Но больше всего я обязан самой жизни, простой и значительной. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть.

Напоследок хочу повторить, что мое становление писателя и человека произошло при советском строе.

Моя страна, мой народ и создание им нового, подлинно социалистического общества — вот то высшее, чему я служил, служу и буду служить каждым написанным словом.

К. ПАУСТОВСКИЙ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное… Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это — простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу, творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображенная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать — неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, — чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

К. ПАУСТОВСКИЙ